



TOMAC

MAHH



ТОМАС
МАНН



Смерть в Венеции



Издательство АСТ
Москва

УДК 812.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44
М23

Серия «Зарубежная классика»

Thomas Mann

DIE ERZÄHLUNGEN

(SELECTION OF 9 NOVELLAS)

Der kleine Herr Friedemann, Der Bajazzo,
Luischen, Tristan, Tonio Kröger,
Der Tod in Venedig, Unordnung und frühes Leid,
Herr und Hund, Mario und der Zauberer

Перевод с немецкого

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения издательства
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Манн, Томас.

М23 Смерть в Венеции : [сборник : перевод с немецкого] / Томас Манн. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 416 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-100487-3

Томас Манн был одним из тех редких писателей, которым в равной степени удавались произведения и «больших», и «малых» форм. Причем если в его романах содержание тяготеет над формой, то в рассказах форма и содержание находились в совершенной гармонии.

«Малые» произведения, вошедшие в этот сборник, относятся к разным периодам творчества Манна. Чаще всего сюжеты их несложны — любовь и разочарование, ожидание чуда и скука повседневности, жажда жизни и утрата иллюзий, приносящая с собой боль и мудрость жизненного опыта. Однако именно простота сюжета подчеркивает и великолепие языка автора, и тонкость стиля, и психологическую глубину.

Вошедшая в сборник повесть «Смерть в Венеции» — своеобразная «визитная карточка» Манна-рассказчика — впервые публикуется в новом переводе.

**УДК 812.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44**

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2005
© Перевод. С. Апт, наследники, 2017
© Перевод. В. Курелла, наследники, 2017
© Перевод. Н. Ман, наследники, 2017
© Перевод. М. Рудницкий, 2017
© Перевод. Е. Шукшина, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

ISBN 978-5-17-100487-3

ПАЯЦ

После всего, что случилось, под занавес, как, ей-богу, достойный финал всего этого жизнь, моя жизнь — «всё это», скопом — внушает мне одно отвращение; оно душит меня, преследует, приводит в содрогание, давит, и, как знать, рано или поздно, возможно, даст необходимый толчок, чтобы мне подвести черту под этой до неприличия смехотворной комедией и убраться отсюда подобру-поздорову. И тем не менее вполне вероятно, я еще какое-то время протяну, еще три месяца или шесть буду продолжать есть, спать, чем-то заниматься — так же машинально, упорядоченно и безмятежно, как протекала моя внешняя жизнь эту зиму — в чудовищном противоречии опустошительному процессу распада внутри. Внутренние переживания человека тем сильнее, тем острее, чем уединеннее, безмятежнее, бесстрашнее он живет внешне — разве нет? Но делать нечего: жить приходится; и если ты отказываешься быть человеком действия и уходишь в самый мирный затвор, то жизненные неурядицы обрушатся на тебя изнутри и тебе неминуемо придется проявить характер там, будь ты хоть героем, хоть шутом.

Я приготовил эту чистую тетрадь, чтобы рассказать свою «историю». Интересно, зачем? Чтоб хоть чем-то заняться? Или от страсти к психологии? Чтобы испытать от необходимости всего этого удовольствие? Ведь необходимость дает такое утешение! Или чтобы получить секундное наслаждение от какого-то превосходства над самим собой, чего-то вроде равнодушия? Ибо равнодушие есть своеобразное счастье, уж я-то знаю...

I

Он в такой глуши, этот старинный городок с узкими петляющими улицами, над которыми возвышаются высокие фронтоны, с готическими церквями, фонтанами, хлопотливыми,

солидными, простыми людьми и большим поседевшим от старости патрицианским домом, где я вырос.

Дом стоял в центре города и пережил четыре поколения состоятельных, уважаемых купцов. Над входной дверью значилось «Ora et labora»*, и когда вы оставляли позади широкую каменную прихожую, которую сверху огибала деревянная беленая галерея и поднимались по широкой лестнице, нужно было еще пройти просторную переднюю и маленькую темную колоннаду, лишь тогда, открыв одну из высоких белых дверей, вы оказывались в гостиной, где мать играла на рояле.

Она сидела в полумраке, поскольку окна были задернуты тяжелыми темно-красными шторами, и белые фигурки богов на обоях, словно двигаясь, отделяясь от голубого фона, прислушивались к тяжелым, глубоким первым звукам одного из шопеновских ноктюрнов, которые она любила больше всего и играла очень медленно, словно чтобы до дна насладиться печалью каждого аккорда. Рояль был старый, и полноты звучания несколько поубавилось, но при помощи педали, приглушавшей высокие ноты, что они напоминали потускневшее серебро, исполнитель мог добиться необычайно странного воздействия.

Сидя на массивном дамастовом диване с высокой спинкой, я слушал и смотрел на мать — невысокая, хрупкого сложения, обычно в платье из мягкой светло-серой ткани. Узкое лицо было не красиво, но под расчесанными на пробор, слегка волнистыми, робко-белокурыми волосами оно казалось тихим, нежным, мечтательным, детским, и, чуть склонив голову над клавишами, мать напоминала трогательных ангелочков, что часто прилежно перебирают струны гитары у ног Мадонны на старых картинах.

Когда я был маленький, мать своим тихим, затаенным голосом нередко рассказывала мне сказки, каких не знал никто, или, положив мне руки на голову, что лежала у нее на коленях, просто сидела молча, неподвижно. Эти часы представляются мне счастливейшими и покойнейшими в жизни. Она не сидела и, как мне виделось, не старела; только облик становился все нежнее, лицо все уже, тише, мечтательнее.

* «Молись и трудись» (лат.).

Отец же мой был высокий крупный господин в черном сюртуке тонкого сукна и белом жилете, где висело золотое пенсне. Между короткими бакенбардами с проседью кругло и твердо выступал гладко выбритый, как и верхняя губа, подбородок, а между бровями навечно залегли две глубокие вертикальные складки. Это был могучий мужчина, имевший большое влияние на общественные дела. Я видел, как от него уходили: одни — легко, неслышно дыша, с лучистым взором, другие — надломленные, совсем отчаявшиеся. Изредка мне, а бывало, и матери, и обеим моим старшим сестрам случалось присутствовать при подобных сценах: то ли отец желал внушить мне честолюбивые помыслы добиться в жизни того же, что и он, то ли, как недоверчиво думал я, он нуждался в публике. Он имел такую манеру, откинувшись на стуле и заложив руку за отворот сюртука, смотреть вслед осчастливленному или уничтоженному человеку, что я уже в детстве питал подобные подозрения.

Я сидел в углу, смотрел на отца и мать и, будто выбирая между ними, размышлял, как лучше провести жизнь — в мечтательных чувствованиях или действуя и властвуя. Наконец взгляд мой останавливался на мирном лице матери.

II

Не сказать, что я внешне походил на нее, поскольку занятия мои большей частью не были мирными и бесшумными. Вспоминаю одно, которое я безоглядно предпочитал общению со сверстниками и их играм и которое и сегодня еще, когда мне, ну, предположим, тридцать, дарит меня весельем и удовольствием.

Речь идет о большом, прекрасно оснащенном кукольном театре; с ним я один-одинешенек запирался у себя и ставил престранные музыкальные пьесы. Комната моя на третьем этаже, где висели два темных портрета, на которых были изображены предки с валленштейновой бородкой, погружалась во мрак, к театру придвигалась лампа: искусственное освещение представлялось необходимым для усиления настроения. Так как сам я был капельмейстером, то занимал место перед самой сценой и водружал левую руку на большую круглую картонную коробку, составлявшую единственный видимый инструмент оркестра.

Затем появлялись артисты, участвовавшие в действе помимо меня, их я рисовал пером и чернилами, вырезал и наклеивал на реечки, чтобы они могли стоять. Это были мужчины в накидках и цилиндрах и женщины невысказанной красоты.

— Добрый вечер, господа! — говорил я. — Надеюсь, все чувствуют себя прекрасно? Я готов, нужно было отдать еще несколько распоряжений. А теперь прошу в костюмерную.

Все отправлялись в костюмерную, что находилась за сценой, и скоро возвращались совершенно преобразившиеся, красочными театральными персонажами. Через дырочку, прорезанную мною в занавесе, они наблюдали, как заполняется зал. Заполнен он был и впрямь недурно, и я, дав звонок к началу спектакля, поднимал дирижерскую палочку и какое-то время наслаждался вызванной этим взмахом полной тишиной. Вскоре следовал еще один взмах, раздавалась зловеющая глухая барабанная дробь, являвшаяся началом увертюры (ее я исполнял левой рукой на картонной коробке), вступали трубы, кларнеты, флейты (их характерный звук я бесподобно воспроизводил голосом), и музыка играла до тех пор, пока под мощное крещендо не поднимался занавес и не начиналась драма в темном лесу или роскошной зале.

Наброски делались в голове, но детали приходилось импровизировать, и в страстных, сладких ариях, под трели кларнетов и гром картонной коробки звучали странные, полнозвучные стихи, исполненные высоких, дерзновенных слов, иногда рифмованные, но редко имевшие внятное содержание. Однако опера продолжалась, я пел и изображал оркестр, левой рукой барабанил, а правой с превеликой осторожностью управлял действующими фигурами и всем остальным, так что в конце каждого акта раздавались восторженные аплодисменты, приходилось снова и снова открывать занавес, а порой капельмейстер даже бывал вынужден поворачиваться и гордо, но вместе с тем польщенно, изъявлять комнате благодарность.

Право, когда после столь напряженного представления я с разгоряченной головой убирал театр, меня переполняло счастливое изнеможение, какое должен испытывать крупный художник, победоносно завершивший труд, в который он вложил все свое умение. До тринадцати-четырнадцати лет эта игра оставалась моим любимым занятием.

III

Как проходило мое детство и отрочество в большом доме, где в нижних помещениях вел дела отец, наверху мать мечтала в кресле или тихонько, задумчиво играла на пианино, а обе сестры, на два и три года старше, возились на кухне или у шкафов с постельным бельем? Помню очень мало.

Несомненно одно: будучи необычайно резвым мальчиком, я более выгодным происхождением, эталонным передразниванием учителей, бесчисленными разнообразными затеями и довольно изысканными речевыми оборотами снискал уважение и любовь одноклассников. Однако на уроках дела шли неважно, я слишком увлеченно ловил в жестах учителей комичное, чтобы быть внимательным к остальному, а дома голова была слишком забита оперным материалом, стихами и всяческим пестрым вздором, чтобы заниматься всерьез.

— Фу, — говорил отец, закладывая руку за отворот сюртука и читая дневник, который я после обеда приносил в гостиную. Складки у него между бровей становились глубже. — Не радуешь ты меня, вот тебе мое слово. Что же из тебя выйдет, скажи на милость? Никогда не выбьешься в люди...

Это удручало, однако не мешало тому, чтобы я уже после ужина читал родителям и сестрам написанное после обеда стихотворение. Отец при этом смеялся так, что пенсне подпрыгнуло у него на белом жилете.

— Какая чепуха! — то и дело восклицал он.

Мать же притягивала меня к себе, убирала со лба волосы и говорила:

— Совсем неплохо, мой мальчик. Я считаю, там есть пара удачных мест.

Позже, став немного старше, я как-то умудрился самостоятельно выучиться играть на пианино. Поскольку черные клавиши приводили меня в особенный восторг, я начал с фадиез-мажорных аккордов, затем принялся искать переходы в другие тональности и постепенно, проведя много часов за роялем, добился в гармонических чередованиях, которые были лишены что такта, что мелодии, известной сноровки, вкладывая в эти мистические переливы как можно больше чувства.

Мать говорила:

— Его пианизм выдает вкус.

И она устроила так, что мне наняли учителя, занятия с которым продолжались полгода, так как я, право слово, не горел желанием учиться ставить пальцы и разбирать такты.

В общем, годы шли, и, несмотря на беспокойство, которое причиняла мне школа, я рос необычайно жизнерадостным. Веселый, всеми любимый, я вращался в кругу знакомых и родственников и, желая казаться обаятельным, был находчив и обаятелен, хотя каким-то инстинктом уже начинал презирать всех этих сухих, лишенных фантазии людей.

IV

Однажды после обеда — мне было где-то восемнадцать, предстоял переход в старшие классы — я подслушал короткий разговор родителей, которые сидели за круглым журнальным столиком в гостиной и не знали, что сын в смежной столовой празднично рассматривает бледное небо над островерхими домами. Разобрав свое имя, я потихоньку подошел к белой приоткрытой двустворчатой двери.

Отец, откинувшись в кресле и перебросив ногу на ногу, одной рукой придерживал на коленях биржевые ведомости, а другой медленно поглаживал подбородок между бакенбардами. Мать сидела на диване, склонив тихое лицо к пальцам. Между ними стояла лампа. Отец сказал:

— Думаю, в ближайшее время его нужно забрать из школы и отдать в обучение на какую-нибудь крупную фирму.

— О, такой одаренный ребенок, — расстроено ответила мать, подняв глаза.

Отец мгновение помолчал и старательно сдул пылинку с сюртука. Затем пожал плечами и развел руками, выставив ладони в сторону матери:

— Если ты полагаешь, дорогая, что для занятий торговлей не нужен никакой талант, это воззрение ошибочно. Иначе в школе, как я, к моему сожалению, все больше и больше убеждаюсь, мальчик не дойдет ни до чего. Его талант, о котором ты говоришь, — своего рода талант паяца. Спешу прибавить, я такое во-

все не недооцениваю. Когда хочет, он может быть обаятельным, умеет общаться с людьми, забавлять их, льстить, имеет потребность нравиться и добиваться успехов; с подобной предрасположенностью уже не один составил свое счастье, и, обладая ею, ввиду его безразличия ко всему остальному, он вполне способен поставить торговое дело на широкую ногу.

Тут отец удовлетворенно откинулся, достал из сигаретницы сигарету и медленно закурил.

— Ты, разумеется, прав. — И мать печальным взглядом обвела комнату. — Я часто думала и в известной степени надеялась, что из него выйдет художник... Это верно, на его музыкальные способности, оставшиеся неразвитыми, пожалуй, уповать нельзя, но ты заметил, что недавно, посетив художественную выставку, он начал немного рисовать? Совсем неплохо, как мне кажется...

Отец выпустил дым, выпрямился в кресле и коротко ответил:

— Это все клоунада и *blague**. Впрочем, полагалось бы поинтересоваться его собственными желаниями.

Ну а какие же у меня, по-вашему, могли быть желания? Перспектива изменить внешнюю жизнь казалась весьма радужной, я с серьезным лицом изъявил готовность оставить школу, чтобы стать купцом, и поступил учеником на крупное лесоторговое предприятие господина Шлифогта, внизу, у реки.

V

Перемена, разумеется, стала исключительно внешней. Мой интерес к крупному лесоторговому предприятию господина Шлифогта был крайне незначителен, я сидел на вращающемся стуле под газовой лампой в темной, тесной конторе такой же далекий, отсутствующий, как когда-то и за школьной партой. Только забот стало меньше, вот и вся разница.

Господин Шлифогт, дородный мужчина с красным лицом и седой, жесткой шкиперской бородкой, уделял мне мало внимания, поскольку в основном пропадал на лесопилке, располагавшейся довольно далеко от конторы и склада, служащие же

* Шутовство (*фр.*).

обращались со мной уважительно. Дружеские отношения связали меня лишь с одним из них, одаренным и веселым молодым человеком из хорошей семьи, которого я знал еще по школе. Звали его Шиллинг. Он, как и я, надо всеми посмеивался, но помимо этого проявлял ревностный интерес к лесоторговле; и дня не проходило, чтобы он не выразил твердого намерения тем или иным способом разбогатеть.

Я же машинально исполнял свои обязанности, а в остальном бродил по складу между наваленными досками и рабочими, через высокий деревянный забор смотрел на реку, вдоль которой ехали товарные поезда, и думал при этом о театральном представлении, концерте, которые посетил, или о книге, которую читал.

Читал я много, читал все, что попадалось под руку, способность моя к восприятию была немалой. Каждую поэтическую личность я вбирал ощущением; и я думал, чувствовал в стиле книги до тех пор, пока на меня не начинала оказывать влияние следующая. В комнате, где когда-то стоял кукольный театр, я теперь сидел с книгой на коленях, поднимая глаза на портреты предков, чтобы еще раз насладиться звучанием покорившего меня языка, и нутро при этом переполнял неплодотворный хаос из полумыслей и полубразов.

Сестры одна за другой вышли замуж, и я, когда не бывал занят на фирме, часто спускался в гостиную, где несколько хворавшая мать, чье лицо становилось все более детским, все более мирным, теперь, как правило, сидела совсем одна. Она играла мне Шопена, я показывал ей какое-нибудь новое гармоническое сочетание, а потом она спрашивала меня, доволен ли я профессией, счастлив ли... Какие могли быть сомнения в том, что я счастлив.

Мне было чуть за двадцать, положение в жизни — лишь временное, я не чурался мысли, что вовсе не обязан провести все годы своей жизни у господина Шлифогта или на каком-нибудь еще более крупном лесоторговом предприятии, что в один прекрасный день я обрету свободу, оставляю город с фронтонами и устраюсь где-нибудь в соответствии со своими склонностями: стану читать хорошие, изящно написанные романы, ходить в театр, понемногу заниматься музыкой... Счастлив? Но я отлично

питался, прекрасно одевался и уже рано, в школе еще, видя, как бедные, плохо одетые товарищи по привычке горбятся и с какой-то льстивой робостью добровольно признают меня и мне подобных своими господами и законодателями мод, с весельем в сердце сознавал, что принадлежу к высшим, богатым, к тем, кому завидуют, кто имеет полное право смотреть на бедных, несчастных и завистливых с благожелательным презрением, сверху вниз. Как же мне не быть счастливым? Пусть все идет как идет. И лучше всего было, не сближаясь, с чувством превосходства, весело общаться с этими родственниками и знакомыми, над чьей ограниченностью я потешался и кого в то же время из желания нравиться искусно очаровывал, и блаженствовать в лучах смутного почтения, которое все они мне выказывали, при этом опасливо чувствуя в моей натуре что-то противоположенное и из ряда вон.

VI

Перемены начали происходить с отцом. Когда он в четыре появлялся за столом, складки между бровями у него день ото дня казались глубже, и он уже не закладывал импозантным жестом руку за отворот сюртука, а производил впечатление человека подавленного, нервного, потерянного. Как-то он сказал мне:

— Ты достаточно взрослый, чтобы разделить со мной заботы, подрывающие мое здоровье. Кроме того, я обязан ознакомить тебя с ними, дабы ты не предавался ложным ожиданиям в связи с дальнейшим положением в жизни. Как тебе известно, замужество сестер стоило немалых жертв. Недавно фирма понесла убытки, значительно уменьшившие ее капитал. Я стар, утратил душевные силы и не думаю, что положение дел существенно изменится. Прошу тебя уяснить, что полагаться ты можешь только на себя...

Он сказал это примерно за два месяца до своей смерти. Однажды его нашли в кресле кабинета — он был желт, разбит параличом, что-то лепетал, а неделю спустя весь город принимал участие в его похоронах.

Мать, мирная, нежная, сидела теперь на диване у круглого столика в гостиной, и глаза ее обычно были закрыты. Когда

мы с сестрами пытались за ней ухаживать, она кивала, иногда улыбалась, не убирая руки с колен, и продолжала молчать, неподвижно, большими, отсутствующими и печальными глазами глядя на какого-нибудь бога с обоев. Когда господа в сюртуках приходили с докладами о ходе ликвидации фирмы, она снова кивала и опять закрывала глаза. Она больше не играла Шопена, а когда время от времени поглаживала волосы, то бледная, нежная, усталая рука ее дрожала. Не прошло и полугода после смерти отца, как она слегла и умерла, без единого стога, безо всякой борьбы за жизнь...

Вот все и кончилось. Что еще удерживало меня здесь? Дела худо-бедно уладили, выяснилось, что моя доля наследства составила примерно сто тысяч марок; этого было довольно, чтобы сделаться независимым — ото всего мира, тем более что меня по какой-то несущественной причине признали негодным к воинской службе.

Ничто более не связывало меня с людьми, среди которых я вырос, чьи глаза смотрели на меня все неприязненнее и изумленнее, чьи воззрения были слишком однобоки, чтобы я мог испытывать желание под них подладиться. Надо сказать, эти люди неплохо меня знали, знали как совершенно бесполезного человека, каким я знал себя и сам. Но поскольку мне хватало цинизма, фатализма, чтобы весело смотреть на свой, по выражению отца, «талант паяца», и радостной воли наслаждаться жизнью по собственному усмотрению, довольства собой у меня было хоть отбавляй.

Я затребовал свое небольшое состояние и, почти ни с кем не простившись, покинул город, дабы сначала отправиться в путешествие.

VII

Три следующих года, когда я с жадной восприимчивостью отдавался бесконечно новым, меняющимся, самым разнообразным впечатлениям, вспоминаю словно прекрасный, далекий сон. Как давно среди снегов и льдов я отмечал Новый год у монахов на Симплоне, в Вероне бродил по пьядца Эрбе, с Борго Сан-Спирито впервые зашел под колоннаду Святого

Петра и мои оробевшие глаза потерялись на невероятной площади, с Корсо Витторио-Эммануэле смотрел вниз на мерцающий белизной Неаполь и далеко в море видел расплывающийся в голубой дымке грациозный силуэт Капри... А на самом деле прошло немногим более шести лет.

О, я жил очень осторожно, полностью по средствам — в простых частных комнатах, недорогих пансионах, но поскольку поначалу мне было трудновато избавиться от привычек зажиточного бургера, да и из-за частых переездов, лишние расходы оказались все же неизбежны. Я выделил на странствия пятнадцать тысяч марок моего капитала, однако в эту сумму не уложился.

Кстати, с людьми, встречавшимися в путешествиях, мне было хорошо — незаинтересованные, сами же часто весьма интересные создания, для кого я, правда, не являлся предметом почитания, как для прежнего моего окружения, но мне не приходилось опасаться и неприязненных взглядов и вопросов.

Со своими светскими талантами я порой пользовался в пансионах искренним расположением, в этой связи вспоминаю одну сцену в салоне пансиона «Минелли» в Палермо. В кругу разновозрастных французов я, активно используя мимический арсенал актеров трагического амплуа, мелодекламацию и бурные гармонии, с ходу начал импровизировать на пианино музыкальную драму «Рихарда Вагнера», и стоило мне под неистовые аплодисменты завершить ее, как с места сорвался пожилой господин, почти уже без волос на голове, с тощими белыми бакенбардами, елозившими по воротнику серой дорожной куртки. Он схватил меня за руки и со слезами на глазах воскликнул:

— Но это поразительно, сударь! Поразительно, дорогой вы мой! Клянусь вам, за тридцать лет я не получал более изысканного удовольствия! Ах, вы ведь позволите мне поблагодарить вас от всего сердца, не так ли? Но вам просто необходимо стать актером или музыкантом!

Нужно признаться, в таких случаях я испытывал нечто вроде высокомерия гениальности, свойственной крупным художникам, в дружеском кругу снисходящих до того, чтобы прямо на столе нарисовать простенькую, но остроумную карикатуру. После ужина, однако, я проводил в салоне одинокие и печальные часы, извлекая из инструмента размеренные аккорды и полагая,